
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 882(09)

*М.А. Перепёлкин****ИОСИФ БРОДСКИЙ И ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ:
К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОГО ДИАЛОГА (ОТ ПОЭМЫ «ГОРБУНОВ
И ГОРЧАКОВ» К ТРАГЕДИИ «ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ, ИЛИ ШАГИ КОМАНДОРА»)**

В основе статьи – рассмотрение творческого диалога между Венедиктом Ерофеевым, с одной стороны, и Иосифом Бродским – с другой, и, в частности, – проблема рецепции поэмы «Горбунов и Горчаков» в трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги командора». Устанавливается, что позиции пророка, к которой тяготел Бродский, Ерофеев противопоставил другую – мученика и юродивого.

Ключевые слова: И. Бродский, В. Ерофеев, диалог, идеализм, материализм, пророк, юродивый.

Прежде всего следует сказать о том, что поэма И. Бродского «Горбунов и Горчаков» не однажды оказывалась в сфере самого пристального внимания исследователей. Одним из первых к её анализу обратился К. Проффер, который сосредоточил свое внимание на рассмотрении диалогической формы поэмы и попытался доказать, что «это не просто эксцентричность, но <...> вытекает из центральных идей поэмы» [1, с. 133].

«Главные темы поэмы, – пишет исследователь, – страдание, разлука, одиночество, несправедливость в мире людей и безумный мир как дурной сон. Горбунов и Горчаков (и сама поэма, и герои) спрашивают, как эти понятия могут быть определены, измерены, каково место человека в великой цепи событий, как все это переживается и преодолевается людьми различного склада» [1, с. 133]. В свою очередь, герои поэмы и представляют собой крайние точки этих различий.

Но оригинальность и смысловая глубина поэмы определяется, естественно, не тем, что в ней представлены эти две крайние мировоззренческие позиции. Оригинальность поэмы состоит в том, что две крайние точки сходятся и под определенным

* © Перепёлкин М.А., 2015

Перепёлкин Михаил Анатольевич (mperepelkin@mail.ru), кафедра русской и зарубежной литературы, Самарский государственный университет, 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.

углом зрения оказываются одной и той же позицией и одним голосом. «Рассматривать ли их как два отдельных персонажа или нет, — говорит К. Проффер, — зависит от того, как мы интерпретируем поэму: а) как подлинный диалог между двумя пациентами; б) как шизоидный монолог одного человека <...> Сама поэма не дает однозначного ответа» [1, с. 137].

Ответ на вопрос, почему не стоит пытаться прийти к определенному выводу о том, сколько в поэме героев — один или два, исследователь видит в том, что поэма представляет собой платоновский идеал диалога, то есть «диалог в самой своей сути, в бытийной чистоте», вечный диалог о вечном человеческом одиночестве и страдании.

Напомним, что над поэмой «Горбунов и Горчаков» И. Бродский работал в 1960-е годы, когда попытка противопоставить идеализм Горбунова и материализм Горчакова была абсолютно оправданной, с точки зрения историко-литературного развития, художественной задачей.

Автора поэмы интересует, как, будучи помещенными в различные мировоззренческие контексты и ценностные системы, одни и те же «вечные» вопросы разрешаются по-разному.

Диалог Горбунова и Горчакова, в самом деле — вечный, как определяет его К. Проффер, поскольку вечным является противостояние-взаимодействие материи и духа, которые необходимы друг другу, но в то же время — враждебны, стремятся к взаимопреодолению и утверждаются только во взаимной борьбе.

Взаимозависимость двух соперничающих начал выражена в поэме И. Бродского, в том числе, и в «перепутанных» фамилиях героев, на что до сих пор никто из исследователей не обратил внимания. «Княжеская» фамилия Горчаков принадлежит материалисту и стукачу, «плебейская» же Горбунов — возвышенному идеалисту и мечтателю, то есть герои как бы названы «не своими» фамилиями, не отвечающими их сущностям. Правда, в таком назывании героев могла быть скрыта и другая логика — внутренняя. Дело в том, что фамилия Горчакова, как известно, образована от названия бурьянной травы «горчак», стелящейся по земле. Фамилия же другого персонажа хоть и опосредованно, но связана с возвышенностью — с «горбом». В таком случае присвоение фамилий героям происходило по принципу актуализации внутренних семантических ресурсов при одновременном игнорировании факторов, лежащих на поверхности, — исторического и социального контекстов и ассоциативных планов (к последним относится, например, ассоциативный ряд «горб — тяжесть — уродство и т. д.»). В любом случае, продумывая систему героев поэмы, И. Бродский завязал узел, в котором неразрывно связаны герои и представляемые ими системы мировоззрения — преимущественно материалистическая и противостоящая ей преимущественно идеалистическая.

При этом противостояние героев и защищаемых ими позиций носит в поэме И. Бродского исключительно «горизонтальный» характер, то есть касается взаимоотношений по-разному понимающих сущность мира людей друг с другом. Ни «идеалист» Горбунов, ни «материалист» Горчаков даже не пытаются поставить вопрос о бытии. Вместо этого они занимаются тем, что проясняют свои позиции в виду «вечных» вопросов. Они слишком заняты собой и своими проблемами, чтобы думать о мире, пытаться его спасти и т. д. Все, что нужно Горбунову, — это суметь остаться Горбуновым и не утратить при этом из вида Горчакова. Соответственно, Горчаков обеспокоен только и исключительно собой и своими взаимоотношениями с оппонентом и приятелем в одном лице.

К середине 1980-х годов, когда В. Ерофеев пишет свою «Вальпургиеву ночь» [2, с. 219–292], многое из того, о чем в свое время думал и писал автор «Горбунова и Горчакова», оставалось практически в неизменном виде — исторические реалии, борь-

ба с инакомыслием и т. д. Безусловно, почти за два десятилетия, отделяющих одно произведение от другого, некоторые изменения произошли, но изменения настолько малозначительные, что рассмотреть их из окон психиатрических больниц, где происходит действие обоих произведений, оказывается крайне сложно.

Видимо, в силу этого говорить об отличиях «Горбунова и Горчакова» от «Вальпургиевой ночи» гораздо сложнее, чем о сходствах. К последним относятся и место действия, и конфликт больных с врачами, и нетривиальное время событий (у И. Бродского это Страстная неделя, у В. Ерофеева — Вальпургиева ночь, то есть — ночь шабаша у ведьм и, одновременно, ночь накануне «праздника всемирной солидарности трудящихся»), и трагическая развязка (драка в поэме И. Бродского, видимо, стоившая жизни Горбунову, и — отравление всех героев, включая Гуревича, у В. Ерофеева). Есть и другие переклички, свидетельствующие как о сходстве ситуации, так и о более чем вероятном знакомстве В. Ерофеева с поэмой И. Бродского.

Что же касается отличий, то их, может быть, не так много, но они не просто есть, но и носят принципиальный характер. Данные переклички позволяют говорить о том, что В. Ерофеев не только развивает идеи, к которым уже пришел раньше него И. Бродский, а формулирует их совершенно по-новому.

Прежде всего В. Ерофеева больше не интересует «горизонтальная» оппозиция «идеалист — материалист». Его не интересуют споры ради споров и выяснения того, как относится тот или иной герой к проблеме одиночества, несправедливости и т. д.

Вопрос, как его формулирует В. Ерофеев, состоит не в том, как относится к миру, а в том, выживет ли этот мир вообще и что должен сделать человек, чтобы мир, спасение которого зависит от его решимости и собранности, выжил. При этом героя В. Ерофеева совершенно не останавливает то обстоятельство, что для спасения мира ему приходится пожертвовать сначала свободой, а потом — жизнью своей и себе подобных.

Если идеалист Горбунов у Бродского тяготеет предстоящей разлукой со своим оппонентом Горчаковым, то ерофеевский Гуревич бесповоротно и решительно пресекает все материалистические соблазны, включая замеченные им за собой «странности», которые выражаются в стремлении к «простым» и легким — материалистическим по своей сути — попыткам объяснить действительность.

Вопрос о близости идеалистического и материалистического полюсов, как и о разделяющей их дистанции, В. Ерофеевым больше не ставится, он ему не интересен. Ему интересно, как и что делать в «этом мире честных людей» ему, «любящему говорить неправду», что в переводе с ерофеевского языка означает примерно следующее: как не раствориться в мире простых и плоских истин миру сложному и неоднозначному?

Таким образом, вопрос, как его ставит В. Ерофеев, — это вопрос не о человеке и о его месте в мире, а вопрос о том, выживет или погибнет мир. Естественно, что пытаясь решить этот вопрос, В. Ерофеев выстраивает иную художественную систему, чем система И. Бродского.

Попробуем коснуться только двух моментов, отличающих решения В. Ерофеева и И. Бродского. Это, во-первых, упразднение у В. Ерофеева второго героя, который бы оттенял фигуру Гуревича, как это делают друзья-враги Горбунов и Горчаков. И во-вторых, образ самого Гуревича, существенно отличающийся от образов героев у И. Бродского.

Почему в поэме И. Бродского героев двое, а у В. Ерофеева — один, — об этом мы уже, собственно, сказали. И. Бродскому была важна оппозиция двух мировоззрений, буквально выразившаяся в противопоставлении героев. Внимание В. Ерофеева приковано к столкновению миров — простого и сложного, а разворачивается это столкновение внутри одного героя — Гуревича. Остается добавить, что герой В. Ерофеева

отнюдь не однопланов, не монологичен, и поэтому в отношении его фигуры, в принципе, может быть поставлен вопрос, обратный тому, который ставится в отношении Горбунова и Горчакова. Если применительно к последним исследователи задумываются, а не один ли это герой, который ведет сам с собой шизофренические беседы, то в ситуации Гуревича будет оправдано спросить, а не два ли это разных героя, которые носят одну и ту же фамилию и этим сбивают читателя с толка. Оправданным этот вопрос будет потому, что Гуревич и впрямь объединяет два разных начала, что отличает его от одноплановых Горбунова и Горчакова.

Гуревич — хохмач и трикстер, он проявляет сексуальную озабоченность и не однажды демонстрирует свою готовность к подвигам. По его инициативе и благодаря его стараниям в палате психиатрической больницы распивается спирт и устраиваются танцы с элементами травести. Но он же — фигура трагическая, заглядывающая в такие бездны, о которых даже не подозревают другие герои «Вальпургиевой ночи».

Легкость и трагизм Гуревича смотрятся друг в друга, создают взаимодействие, не менее интенсивное, чем диалог Горбунова и Горчакова. Более того, это взаимодействие затрагивает не одну только интеллектуальную сферу, но распространяется на весь образ жизни, мышления, взаимодействия с миром.

Если героям И. Бродского было важно сохранить свою правоту и самих себя в столкновении с другим взглядом на действительность, то герой В. Ерофеева заранее принял свою обреченность и теперь, веселясь и печальась одновременно, спасает мир ценой самопожертвования.

В этом случае правомерен вопрос, пародирует ли В. Ерофеев И. Бродского? Как будто бы, да: глубина метафизических прений между Горбуновым и Горчаковым уступает у В. Ерофеева место хохмам «жидяры» Гуревича. Кроме этого отдельное место в «Вальпургиевой ночи» принадлежит еврейской теме и теме еврея-изгоя, в котором, при желании, можно рассмотреть черты биографии все того же И. Бродского. Пародийно-снижено звучит в ерофеевской интерпретации поднятая в поэме «Горбунов и Горчаков» тема космоса, и т. д.

Но при всем при этом видеть в трагедии «Вальпургиева ночь» пародию на И. Бродского и на его поэму все-таки неправомерно. Шутовство В. Ерофеева, являющееся оборотной стороной трагического мироощущения, не является пародией, которая бы означала преодоление, отталкивание от пародируемого объекта. Оно оказывается шире и глубже предмета пародии, вбирает его в себя и открывает перед ним такие перспективы, которые «пародируемому» И. Бродскому вне ерофеевского шутовства были недоступны.

Итак, в ходе проделанной работы нами было установлено, что, разрабатывая сюжет и систему героев трагедии «Вальпургиева ночь, или Шаги командора», В. Ерофеев, очевидно, имел в виду поэму И. Бродского «Горбунов и Горчаков». Однако взаимодействие художественных опытов авторов поэмы и трагедии не уместается в традиционную схему пародирования-для-преодоления. В силу того, что В. Ерофеев иначе поставил вопрос о человеке и мире, «пародируемый» И. Бродский оказался внутри этого вопроса, а пародия обернулась заинтересованным усвоением никак не ради преодоления.

В заключение заметим, что опытов прямых сопоставлений художественных систем В. Ерофеева и И. Бродского до сих пор не предпринималось, однако косвенные попытки сближения И. Бродского с В. Ерофеевым — были. Скажем несколько слов об одной из них.

И. Бродскому и В. Ерофееву посвятила несколько своих работ О. Седакова, попытавшаяся не только охарактеризовать место каждого из них в отечественной словесности, но и — косвенно — обозначить саму парадигму, представленную именами В. Ерофеева и И. Бродского, и ее место в культурном контексте эпохи.

Приведем несколько ее соображений по этому поводу.

Об И. Бродском: «...сама позиция радикального отщепенства — не столько политического, как этического и эстетического — возникла вместе с Бродским и благодаря ему» [3, с. 725] («Бегство в пустыню»); «Выход, предложенный Бродским, — выход в пустыню <...>, в ту «бесплодную землю» современности, которую открыли его европейские учителя — Элиот и Оден. Бродский выступает как суровый моралист: пустыня лучше, чем фата-морганы лирических садов, оазисов» [3, с. 731–732]; «Бродский стал тем, что в английской традиции называют «национальным поэтом, то есть центральным автором своей эпохи, человеком, влияющим на историю. Он гениально угадал, что в такой момент в такой стране центр располагается в провинции, в радикальной центробежности: даже не в движении протеста, а в глубоко личном, «частном» отстранении от государственной службы любого рода. Императив «частного лица», который он заявил, и был центральной — гражданской, этической, эстетической, в конце концов, государственной — задачей времени. Эта «частность» личного существования приняла у Бродского монументальный масштаб» [3, с. 327] («Воля к форме»); «Бродский — голос поколения, очень значительного в нашей истории <...> Освобождающегося человека в России в те годы посетило какое-то совершенно особое религиозное вдохновение, внецерковное и внетрадиционное вообще: “идеализм”, как они часто это называли. Для Венедикта Ерофеева, для Бродского и для многих, многих других <...> религиозная жизнь была таким глубоко своим, личным, интимным, с глазу на глаз переживанием (вспомним разговоры Венички с “Богом в синих молниях” в “Москве-Петушках”), что какую-либо традицию, догматику, дисциплину увязать с этим было бы слишком трудно <...> Политическое сопротивление в сравнении с ней казалось частным, техническим делом. В одном американском интервью Бродский сказал, что с юности считал своей целью “оголтелую проповедь идеализма”. На том же советском жаргоне Венедикт Ерофеев говорил о своей любви ко всем “оголтелым реакционерам”...» [3, с. 832–834] («Кончина Бродского»).

О В. Ерофееве: «“Петушки” — не совсем литература, во всяком случае, в ее позднем понимании, fiction. Называть ли их “больше, чем литературой” или “меньше, чем литературой” не важно. Их традиция — книги собственной жизни, книги, которые сначала проживаются, а потом записываются <...> И вот этому веселому ужасу крушения относительных ценностей (а какие не таковы?) и потусторонней свободе на развалинах (иди куда хочешь, потому что все равно идти некуда) нет, наверное, лучше названия, чем “Москва-Петушки, октябрь 1969 года, на кабельных работах» [3, с. 737–738] («Несказанная речь на вечере Венедикта Ерофеева»); «Эта беззаконная рукопись располагалась в пространстве таких внелитературных вещей, как “поступок” и “живая душа”: не располагалась, а вовлекала читателя в это пространство, в некоторый образ жизни» [3, с. 739] («“Москва-Петушки” в мире книг»); «Веня меньше всего был для меня писателем. Это кажется странным, но все, кто знал его достаточно хорошо, согласятся со мной. Веня сам был значительнее своих сочинений. Точнее, если они стали значительными, то как раз благодаря присутствию его личности — в тексте, за текстом, над текстом <...> И все эти не пересказываемые ответы жизни — живые, непредвзятые, поразительно деликатные и точные — это незабываемое в Вене. И этого не расскажешь» [3, с. 858–859] («Воспоминания о Венедикте Ерофееве»).

Как видно из этих высказываний, В. Ерофеев и И. Бродский, по мнению О. Седаковой, решали одну общую — этическую и эстетическую — задачу, а именно: искали пути обретения «свободы от принудительной тупости и заниженности существования, свободы от неотвязного присутствия Типограф Типографыча, который языков не учил и не уставал этим гордиться» [3, ч. 833]. Но вот способы обрести эту свободу были разные: если И. Бродский видел в качестве пути к искомой свободе, прежде всего, проповедь *идеализма*, то в случае В. Ерофеева это прежде всего весть о

любви и смирения. Это значит, что творческая позиция И. Бродского, восходящая к ветхозаветному в своей основе образцу, была преимущественно позицией человека, которому *открылось* нечто иное, и это посетившее его Откровение заставило его говорить голосом медиума, в котором его собственный голос соединился с голосом Того, кто стоял у истоков мира и в чьих руках находится его судьба. Позиция В. Ерофеева – иная; он – не пророк, а христианский мученик, юродивый, проповедующий любовь и смирение и сам смиряющийся со всем, что «медленно и неправильно», приносящий себя в жертву и радующийся этой жертве. И как учение Христа вбирает в себя традицию иудейских пророчеств, не пародируя и не отменяя их, так юродивый Венедикт Ерофеев с восхищением вбирает в себя слово «лучшего из поэтов», «жидяры» и «гражданина Нью-Йорка» Иосифа Бродского (все определения – из письма В. Ерофеева сестре Тамаре от 6 января 1988 года).

Библиографический список

1. Проффер К. Остановка в сумасшедшем доме: поэма Бродского *Горбунов и Горчаков* // Поэтика Бродского: СБ. / под ред. Л.В. Лосева. Тенафлу; N. J., 1986. С. 132–140.
2. Ерофеев В.В. Мой очень жизненный путь. М.: Вагриус, 2003.
3. Седакова О.А. Проза / сост. А. Великановой. М.: Эн Эф Кью / Ту Принт, 2001.

References

1. Proffer C. Stop in the insane asylum: poem *Gorbunov and Gorchakov* by Brodsky in *Poetics of Brodsky*. L.V. Losev (Ed.). Tenaflu; N. J., 1986, pp. 132–140 [in Russian].
2. Erofeev V.V. My really life journey. M., Vagrius, 2003 [in Russian].
3. Sedakova O.A. Prose. Compiler A. Velikanova. M., En Ef K'iu / Tu Print, 2001 [in Russian].

*M.A. Perepelkin**

JOSEPH BRODSKY AND VENEDIKT EROFEEV: ON THE PROBLEM OF CREATIVE DIALOG (FROM THE POEM «GORBUNOV AND GORCHAKOV» TO THE TRAGEDY «WALPURGISNACHT, OR THE STEPS OF THE COMMANDER»)

At the heart of an article there lies the viewing of the creative dialog between Venedikt Erofeev on the one hand and Joseph Brodsky on the other hand, and in particular the problem of reception of the poem «Gorbunov and Gorchakov» in the tragedy «Walpurgisnacht, or the Steps of the Commander». It is established that the position of a prophet to which Brodsky gravitated toward, Erofeev opposed another one – martyr and fool in Christ.

Key words: J. Brodsky, V. Erofeev, dialog, idealism, materialism, prophet, fool in Christ.

Статья поступила в редакцию 10/VI/2015.
The article received 10/VI/2015.

* *Perepelkin Mikhail Anatolievich* (mperepelkin@mail.ru), Department of Russian and Foreign literature, Samara State University, 1, Acad. Pavlov Street, Samara, 443011, Russian Federation.